

*Биография, творчество и понимание Н.В. Гоголя:
теоретические проблемы*

Вначале констатируем очевидность. Когда речь идет о Гоголе, то обычное в науке различие взглядов достигает такой остроты, что иногда создается впечатление, будто ученые пишут не об одном и том же, а о совсем разных авторах. Таких разных, что они даже не знакомы друг с другом. Настолько по-разному интерпретируется и самые известные факты биографии Гоголя, и его классические произведения. Конечно, сегодня продолжается накопление все нового и нового биографического материала, этот материал издается и комментируется. Дело это хорошее и полезное. Однако как же быть все-таки со столь вызывающим – и порой совершенно непримиримым – различием интерпретаций и оценок?

Что сделать для того, чтобы Вавилонская башня марксизма в изучении Гоголя, когда она распалась, не погребла под своими обломками гоголеведов и гоголеведение? Неужели только насильственная узда идеологии могла сдерживать вопиющий произвол интерпретаций – ни в чем не согласных между собой?

С чего, в самом деле, начать, если мы хотим – хотя бы в это юбилейное время – сделать шаг навстречу друг другу и *воссоздать* разрушенное за последние десятилетия единое поле гоголеведения? Очевидно, нужно начать со смиренного осознания служебного – а отнюдь не царственного - места науки по отношению к художественному творчеству. Если для позитивистов XIX века была простительной слепая *вера* в науку, то сохранять эту веру для тех, кто находится уже в веке XXI и хотя бы мало-мальски знаком с современными *конкурирующими* в литературоведении направлениями, - не только наивно, но и смешно. Нужно смириться с тем, что для науки *непостижима* сама тайна творчества. Писатель, как выразился однажды М.М. Бахтин, не приглашает к своему пиршественному столу литературоведов.

Что это значит? Занимаю ли я постмодернистскую позицию, когда признаю эту непостижимость тайны автора? Совсем нет. Однако я должен – как литературовед – смириться с тем, что есть Николай Васильевич Гоголь – как тайна, такая тайна, которая не подлежит научному окончательному «расколдовыванию». Ни сейчас. Ни в будущем. И есть также мое *истолкование* этой тайны. Я должен смириться и с тем, что мое *истолкование* – это именно *одна* из возможных – в ряду других – *попыток* постижения тайны Гоголя. Если в XIX веке и можно было наивному профессору отождествлять *свой* путь в изучении с наукой в целом, то уже в XX веке, насколько мне известно, наука никому не делегировала привилегию быть ее персональным спичмейкером.

Итак, фактом гоголеведения нашего времени является наличие *множественности* подходов как в области изучения биографии Гоголя, так и в области интерпретации его текстов. В принципе, сосуществование *различных* подходов к классическому наследию – это вполне нормальная ситуация в гуманитарной науке, которую стоит только приветствовать. Более того, *без* подобного разномыслия нет никакого развития научной мысли, а есть только штамповка эпигонов – под видом «учеников» - и неизбежная стагнация.

Однако проблемы начинаются тогда, когда при этом разномыслии нет никакого стремления к тому, чтобы понять логику и хотя бы *относительную* правоту противоположной стороны. Когда каждое направление считает именно себя представителем «*научности*» - и не признает за другими аналогичного права. Вместо благожелательного размежевания начинаются те самые «драки на меже», о которых колоритно писал уже упоминаемый мною ученый. Заклинания о «диалогизме» отнюдь не спасают ситуацию. На нашей почве можно говорить даже об известном парадоксе, состоящем в том, что те, кто громче всех кричит о «диалогизме», на деле зачастую являются наиболее свирепыми «монологистами», которые отсекают всё, что не подпадает под их собственные представления о «научности».

Итак, та принципиальная мысль, на которой я настаиваю, состоит в том, чтобы каждому из нас, гоголеведов, умалиться в своих научных притя-

заниях до смиренного осознания, что все наши построения, каким бы терминологическим аппаратом они не подкреплялись, являются попытками *интерпретации* тайны Гоголя. Мы можем искренне *верить* в то, что *именно наша* попытка понимания писателя является наиболее адекватной, наиболее непротиворечивой, наиболее истинной, в конце концов. Однако же мы обязаны *признать* за другими коллегами право думать точно так же об их собственных научных изысканиях.

Хотя наука – начиная с эпохи Просвещения – и пыталась занять место религии, но все-таки окончательно не стала ею. Поэтом наука отнюдь не может претендовать на то, чтобы отвечать на *все* вопросы. Существует множество проблем, перед которыми наука бессильна. Если бы она могла ответить на эти вопросы, тогда бы невозможно было объяснить ни потребности человека в вере, ни потребности человека в искусстве.

Что означает в этом контексте то самоуменьшение ученого, к которому я призываю? Понять и принять, что он – как представитель цеха ученых – просто не в состоянии вместить в себя истину во всей ее полноте. Скажем, истину о тайне Гоголя. Эту истину – во всей ее полноте – дано знать только Богу. Нужно смириться с тем, что многие *поступки* Гоголя навсегда останутся нераскрытыми здесь, на земле. И наши истолкования этих поступков методологически точно называть именно и только попытками интерпретации. Безусловно, к таковым поступкам относится сожжение второго тома «Мертвых душ». Сколько будет существовать гоголеведение, столько будет жить тайна этого поступка и существовать ее различные научные версии.

Является ли такая методологически выверенная установка шагом в сторону релятивизма? Может быть, отчасти это и так. Но не является ли противоположная установка – на то, что *я и только я* вполне понял и постиг Гоголя – знаком какой-то страшной (или, может быть, смешной) гордыни? Не лучше ли смиренно разделить с другими это привилегию?

Если исходить из многогранности и объемности мира Гоголя, то почему бы не признать, что каждое из существующих современных научных на-

правлений способно адекватно описать лишь *отдельные*, близкие к своим собственным установкам, грани гоголевского творчества? Эти описания могут быть более глубокими или менее глубокими, но сейчас речь идет не об этом, а о самой теоретически постулируемой возможности научного взаимодействия: признания за своим оппонентом права хотя бы на частичное постижение Гоголя. Ведь без этого, то есть если настаивать только на своей правоте, всякая научная дискуссия становится либо невозможной, либо ненужной. Она вырождается в разрозненные монологи действующих лиц.

Высказанные выше суждения отнюдь не означают признания равной истинности *всех интерпретаций* Гоголя, сколько бы их ни было. В свое время в книжке о гоголевском «Миргороде» я предложил понятие — «*спектр адекватности*», чтобы, с одной стороны, подчеркнуть принципиальную множественность адекватных прочтений, их несводимость к одному-единственному, только и допустимому истолкованию, а с другой стороны — пытался доказать, что «спектр адекватности» отнюдь не безграничен, его границы исторически изменчивы, зависимы от типа культуры и особенностей построения изучаемого текста. Мне хотелось акцентировать внимание на том, что подлинный диалог — «диалог согласия» — все-таки возможен в нашей науке, и я пытался описать *условия* осуществления этого диалога.

Если есть множественность (именно множественность!) различных, но в равной степени адекватных интерпретаций, то существуют, очевидно, и интерпретации выходящие за границы этого спектра. Однако как определить эти границы — в частности, в гоголеведении? Занимаясь историей литературоведения, я убедился в том, что, к сожалению, весьма часто система ценностей исследователей русской литературы находится в *кардинальном противоречии* с аксиологией предмета изучения. Причем было бы значительным упрощением говорить о том, что русская классика имеет духовный потенциал, а ее исследователи — бездуховны. Нет, настоящая проблема в том, что зачастую *тип духовности* этих исследователей — один, а *тип духовности* русской литературы — совсем другой. Поэтому — вольно или невольно — проис-

ходит проецирование своей собственной системы ценностей, своих собственных представлений о «должном» и «недолжном» на русскую классическую литературу.

Именно в гоголеведении эта проблема, по-видимому, проявляется наиболее резко. В этом смысле изучение Гоголя в советское время не просто искажало подлинное понимание писателя, но произошла, в сущности, подмена самого предмета изучения. Конечно, этот *советский* Гоголь тоже возник не из ничего. В сущности, все советское гоголеведение – в большей или меньшей степени - выросло из письма Белинского к Гоголю, в нем же обращают на себя внимание не просто какие-то расхождения между критиком и писателем, а расхождения кардинальные, примирить которые не представляется возможным. Речь идет об образе России - и о самой душе России.

Не требует особых доказательств, что советское гоголеведение с удовольствием подхватило и вульгаризировало революционно-демократическую мифологию в понимании русской литературы. В рамках этой мифологии – с ее центральным понятием «критического реализма» - «реакционно» все то, что так или иначе созвучно православному порядку России, а «прогрессивно» все то, что радикально противостоит этому порядку. Чем выше степень радикализма, тем «прогрессивнее» тот или иной писатель. Не случайно именно Гоголь был наделен уникальной надписью на пьедестале памятника Томского: «Николаю Васильевичу Гоголю от правительства Советского Союза». Эта надпись лишь подчеркивала величайшую заслугу писателя – с точки зрения советской ментальности – он позиционировался как *сатирик*, разоблачитель язв проклятой царской России – того самого государства, которое сокрушил и поправ Советский Союз. Именно *критическая* сторона гоголевского «реализма» подлежала изучению в советское время.

Однако «изучать» отнюдь не является синонимом глагола «понимать». Если «изучение» возможно как в гуманитарных науках, так и в негуманитарных, то *понимание* является прерогативой «наук о духе», как назвал когда-то нашу сферу интересов Вильгельм Дильтей. Понимание же, в отличие от про-

стого «изучения», предполагает известное личностное созвучие между предметом понимания и его истолкователем. Подлинного понимания нет там, где нет любви. Это относится не только к филологии, но именно филология – наука, предполагавшая в самой своей колыбели любовное отношение к своему предмету: филология. Ясно, что письмо Белинского к Гоголю предполагает что угодно, только не подлинное понимание духовного вектора развития Гоголя. Напротив, это письмо задает совершенно противоположную перспективу: *непонимания* Гоголя. И именно этот вектор *непонимания* Гоголя, к сожалению, стал основой для его последующего *изучения* (именно *изучения*) в нашей стране. Поэтому интерпретации гоголевских текстов, заданные этим вектором *непонимания* находятся вне спектра адекватности. Они не способны *обогащить* наше представление о Гоголе, они способны обеднить это представление, а также исказить сам предмет рассмотрения.

Является ли временная граница между нами, нынешними исследователями, и Гоголем препятствием к пониманию? На этот счет возможны различные мнения. Согласно одному из них — конечно, является. Так, например, считал М.Л. Гаспаров, полагая, что научная точка зрения может быть *только одна* – историческая¹. Если эту гипотезу применить к изучению Гоголя, то нужно реконструировать художественное восприятие читателей гоголевского времени, потому что именно для этих читателей писал Гоголь (сходным образом исследователь высказался об изучении Пушкина)².

Представляется, что научное прочтение изучаемого текста именно и только на фоне читательских ожиданий времени биографической жизни автора все-таки нельзя считать единственным правильным научным контекстом понимания. Изучение «малого времени» биографической жизни участников тех или иных литературных событий является только лишь *одним из возможных* контекстов понимания, к тому же не самого глубокого понимания. Упорствующие в таком подходе к литературе как единственно научном и настаивающие на «историзме» такого подхода на самом деле лишь «замыкаются в эпохе» создания произведений. В сущности, эта позиция вообще имеет

дело не с *пониманием*, а с *изучением*, совершенно подобном изучению негуманитарного предмета: мертвой, безголосой и (главное) всегда равной самой себе *вещи*.

Если бы мы – каким-то невероятным образом – и смогли «вернуться» в гоголевскую эпоху, так сказать, вжиться в сознание гоголевских читателей того времени, это содействовало бы не «чистоте» нашего литературоведческого анализа, а, напротив, воспрепятствовало бы истинному, глубокому пониманию Гоголя. В той исторической дистанции, которая отделяет нас от гоголевской эпохи, имеются, на мой взгляд, и свои *позитивные* моменты.

Совершенно ясно, что современному гоголеведу абсолютно незачем солидаризироваться с точкой зрения, господствующей в XIX веке, согласно которой светскую и духовную литературу в России будто бы разделяет какой-то непреодолимый барьер. Именно нам, с нашей позиции вненаходимости по отношению к гоголевскому времени, гораздо понятнее, чем современникам Гоголя, почему книга «Выбранные места из переписки с друзьями» вызвала почти общее замешательство при ее публикации. Эта книга была призвана соединить светскую и духовную сферы. Однако ее «пограничность» помешала современникам Гоголя осознать это сочинение в качестве позитивной ценности, что и привело к нападкам на писателя с двух сторон сразу. Для современников Гоголя такое прямое и непосредственное соединение показалось, по-видимому, слишком вызывающим и, возможно, нарушающим сложившиеся читательские установки (как читателей светской литературы, так и любителей духовного чтения).

Однако сегодня мы должны поставить феномен этой книги (как и всего творчества Гоголя) в иной контекст понимания, недоступный по ряду причин современникам Гоголя. Дело в том, что сегодня нам гораздо яснее, чем другим поколениям, видится тот общий знаменатель, который конституирует единство русской культуры в ее разнообразных проявлениях. Именно в пределах этой единой культуры сосуществуют, а не противостоят друг другу

светское и духовное, а также Гоголь-художник и Гоголь-мыслитель. И не только Гоголь.

Так, романное творчество Достоевского всецело принадлежит русской художественной литературе. Однако для многих и многих его читателей это творчество стало ступенью к их воцерковлению. На это же надеялся и Гоголь, создавая «Выбранные места...».

Объяснение такого совмещения состоит в том, что творчество Гоголя глубинно укоренено в христианском типе культуры, как и творчество Пушкина, Достоевского и других выдающихся русских писателей. Я сейчас совершенно не имею в виду их биографическую религиозность, ее степень и глубину, я говорю исключительно об их текстах. Современные исследования творчества Гоголя и тяготеют к одному из двух полюсов: гоголевские тексты рассматриваются либо как проекция его религиозного мировоззрения, либо же с позиций универсальной поэтики. Я не хочу призывать к утопическому «примирению» этих подходов, но настаиваю на том, что пристальное внимание к православной религиозности автора и научное описание поэтики его творчества отнюдь не являются какими-то взаимоисключающими и потому несовместимыми исследовательскими актами. Более того, мне представляется, что изучение поэтики русской литературы – в отрыве от ее религиозных корней – является сегодня явным анахронизмом.

Так, сюжеты «Мертвых душ», «Ревизора», «Выбранных мест из переписки с друзьями» имеют один и тот же вектор движения: это движение в сторону пасхального воскресения читателя. У меня нет возможности подробно аргументировать этот тезис, но я его обосновал в целом ряде своих работ³. В конце концов, мы все хорошо помним задачу исторической *поэтики*, как ее понимал А.Н. Веселовский: «определить роль и границы предания в процессе личного творчества»⁴. Исходя из этой чеканной формулировки, мне представляется корректным и продуктивным в научном отношении определить «роль и границы предания», *христианского* предания в произведениях Гоголя. Поэтому вполне правомерно рассматривать поэтику Гоголя именно в кон-

тексте православной культуры. Во всяком случае, такое понимание было бы вполне созвучно вектору человеческой и писательской судьбы самого Гоголя.

¹ См., например: *Гаспаров М.Л.* Предисловие // Ю.М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. М., 1994. С. 14.

² Ср.: «...Мы стараемся реконструировать художественное восприятие читателей пушкинского времени только потому, что именно для этих читателей писал Пушкин. Нас он не предугадывал и предугадывать не мог» (Там же. С. 14-15).

³ См. например: *Есаулов И.А.* Категория соборности в русской литературе. Петрозаводск, 1995; *Он же.* Пасхальность русской словесности. М., 2004.

⁴ *Веселовский А.Н.* Историческая поэтика. Л., 1940. С. 493.